

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

*ПРОБУЖДЕНИЕ.
ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Г13

Серия «Эксклюзив: Русская классика»
Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*
Дизайн обложки *В. Воронина*
В оформлении обложки использована
картина Густава Климта «Дама с веером»

Издано при поддержке
Общества друзей Гайто Газданова

Газданов, Гайто Иванович.

Г13 Пробуждение; Эвелина и ее друзья : [романы] /
Гайто Газданов. — Москва : Издательство АСТ,
2026. — 416 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-185689-2

«Пробуждение» и «Эвелина и ее друзья» — последние романы Гайто Газданова, изданные при жизни писателя. В них сохраняются присущие автору своеобразие стиля и словесная виртуозность, тонкая ирония и живость образов, психологизм и традиции европейского экзистенциализма, но притом это, пожалуй, самые лирические и светлые его работы.

У каждого из героев своя история и свое реальное и метафорическое путешествие, но каждый из них — будь то заурядный бухгалтер или вечно юные парижские интеллектуалы — верит в чудо и ищет себя через заботу о других, любовь и дружбу.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-185689-2

© ООО «Издательство АСТ», 2026

ПРОБУЖДЕНИЕ

Point n'est besoin d'espérer pour
entreprendre ni de réussir pour per-
sévérer

Нет нужды надеяться достигнуть
цели, добиться успеха, если не
приложишь сил и настойчивости.

Вильгельм Оранский

Пьер Форэ уехал из Парижа скорым поездом, отходившим с Аустерлицкого вокзала в половине девятого утра. Это было второго августа. Третьи сутки подряд лил бесконечный дождь, и в ночь, предшествующую отъезду, Пьер просыпался каждые два или три часа и всякий раз слышал все тот же шорох влажных листьев под своим окном, против которого рос высокий каштан. Ему иногда начинала казаться нелепой мысль о поездке в отпуск: не все ли равно, где мокнуть под дождем — в Париже или в какой-то далекой глуши, за сотни километров отсюда? Но билет был куплен давно и приходилось ехать, независимо от того, казалось ли это целесообразным и своевременным.

В сущности, это вышло случайно. Вероятнее всего, Пьер остался бы в Париже, если бы не встретил две недели тому назад Франсуа, того самого, которого в лице товарищи называли «сусликом» и который теперь был журналистом. Франсуа пригласил его в кафе, они сидели на террасе и разговаривали.

Франсуа сказал:

— Быстро проходит все-таки время, а? Ты куда едешь на лето?

— Никуда, собственно, останусь в Париже.

— Почему?

Пьер пожал плечами и ответил, что ему никуда не хочется ехать.

— У меня идея, — сказал Франсуа. — Приезжай ко мне. Помещение у тебя будет бесплатное, расходы на еду будем делить поровну. Я летом живу у черта на куличках — никого вокруг, только река и лес. А? Что ты скажешь?

И он объяснил Пьеру, что несколько лет тому назад ему достался по наследству небольшой кусок земли в одном из южных департаментов; там было несколько деревьев, колодец и полуразрушенный дом с маленьким флигелем.

— Развлечений мало, — сказал Франсуа. — Тишина зато необыкновенная, только по вечерам кричат лягушки в пруду недалеко. Газа нет, электричества тоже нет. Ты погружаешься в четырнадцатое столетие — без газет, без журналов, без радио. Деревья, вода и трава, больше ничего. И еще нечто вроде пещеры, где ты будешь жить, — шершавые стены, земляной пол и хромая табуретка. Это тебе подходит?

Пьер согласился, не подумав и изменив на этот раз своей обычной медлительности в решениях.

Через несколько дней после этого он пожалел о своем согласии, но Франсуа уже не было, он уехал в Орлеан, откуда должен был отправиться к себе на юг, не заезжая по дороге в Париж, и предупредить его о перемене решения у Пьера не было возможности. Он заблаговременно купил себе билет, уложил в чемодан все, что было нужно, и вот теперь, второго августа, он сидел в вагоне и ехал в эту самую глушь, о которой рассказывал Франсуа.

В его купе ехал старый крестьянин со своими тремя сыновьями — молчаливые люди с загорелыми лицами и руками, в неловко сидящих на них городских костюмах, явно купленных в провинциальном магазине готового платья, — и какая-то толстая дама с двумя детьми:

некрасивой девочкой лет десяти, которая то дремала, то читала книжку с картинками, и мальчиком лет семи, единственным пассажиром, не умолкавшим ни на минуту: — Мама, вот там стоит паровоз! Мама, почему он не двигается? А на нем нет механика? Нет, вот механик! И вот кочегар! А вот контролер! Почему наш паровоз не гудит? Вот идет дама с девочкой! Вот идет носильщик! Паровоз будет делать: ту-ту-ту! Почему мы еще не уезжаем? Ту-ту-ту! Осторожно, поезд сейчас будет отходить! Нет, он еще не отходит!

Толстая дама отвечала: — Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Обветренные лица крестьян были каменно неподвижны. Пыра раздражали и голос мальчика, и его детская глупость, но он тоже молчал. Он вышел в коридор, но там нельзя было протолкнуться, люди сидели на чемоданах, занимая проход, какой-то солдат просто лежал на полу, подстелив под себя газету. Пол равномерно вздрагивал от движения поезда. Пьер посмотрел вниз, на газету; под левым локтем солдата были видны слова «убийца из ревности», но следующие строки пропадали где-то между поясницей и спиной, и только значительно ниже, еще в одном месте острым углом вырисовывался кусок столбца, на котором можно было прочесть: «Утопленница Луары наконец опознана. Речь идет о...» — Ту-ту-ту! — кричал мальчик.

— Да, мой миленький, — отвечала толстая дама. — Мама, ты видишь, идет дождь! — Да, мой миленький. Мимо забрызганных стекол вагона мелькали мокрые заборы, люди под зонтиками, шагавшие по дороге, которая то появлялась, то исчезала, птицы на телеграфных проводах. Было прохладно и сыро. Пьер сел на свое место в углу, притиснутый толстой дамой, не выпускавшей из рук вязанья. Крестьяне ели хлеб с сы-

ром и колбасой, отрезая каждый кусок перочинным ножом и поднося его ко рту, и запивали еду красным вином, которое расплескивалось в стакане от вздрагивания поезда.

За окнами вагона стелился влажный туман, пересекаемый тем же бесконечным дождем, пролетал белыми ключьями пар от паровоза, дымились смутно возникающие и тотчас исчезающие поля. В купе стоял упорный запах овернского сыра, красного вина и чего-то несвежего и трудноопределимого, и от этого Пьера начинало тошнить. Он снова вышел в коридор, долго стоял там, но наконец устал и, вернувшись на свое место, сел и закрыл глаза.

Сначала он не думал ни о чем и только невольно вслушивался в равномерное вздрагивание поезда. Затем вдруг перед его глазами возникла — он никогда не мог понять потом, почему именно, — маленькая книжка с твердой обложкой, которую ему подарил отец, когда Пьеру было девять лет, книжка сберегательной кассы с записанной в ней суммой в сто франков. В те времена его отец — Пьер помнил его грузным человеком с отвисающими щеками, которые, казалось, никогда не были ни особенно небритыми, ни свежевыбритыми, — в мешковатом костюме, с палкой или зонтиком в руках, — в те времена его отец придавал большое значение сберегательным кассам. Это, впрочем, продолжалось недолго и было вдобавок чисто теоретическим, но заняло известное место в той эволюции принципов, как он выражался, которая была любимой и всегдашней темой его рассуждений. Уже несколько месяцев спустя он говорил, что сберегательные кассы — это ловушка для наивных и доверчивых людей и спекуляция на скупости. Кроме того, у отца Пьера никогда не было денег — ни в сберегательной кассе, ни где бы то ни бы-

ло вообще, хотя он занимался коммерческими делами и все жалел, что у него нет достаточного оборотного капитала. Он был необыкновенно словоохотлив, многоречив и отличался способностью говорить с жаром о чем угодно — о кулинарии, о принце Уэльском, о капитализме, о балете, о политике, о скачках, о литературе. Обо всем этом у него было очень приблизительное представление, но это не имело значения, потому что любой вопрос служил только предлогом для того, чтобы он, Альберт Форэ, мог как-то использовать ту непонятную и чисто словесную энергию, которая была для него характерна. Он как-то шутя сказал жене в ответ на ее очередной упрек в многословии:

— Можешь мне поверить, дорогая: когда я стану молчалив, это будет значить, что дело плохо. Ты это запомни.

Но несколько лет спустя, когда это действительно произошло, никто не вспомнил о его словах, которые оказались совершенно пророческими. Он замолчал, не произносил ни слова неделями и только изредка тяжело стонал. Он знал, что он умирает, задолго до того, как это стало понятно окружающим, — и когда он остался наедине с этой перспективой смерти, ему нечего было сказать, так как все слова были бесполезны. Он не думал об этом, ему никогда не приходила в голову мысль о возможности какого-то праздного и воображаемого диалога со смертью, но он чувствовал ее неудержимое приближение и ждал конца с тем тупым и неизменным ужасом, который совершенно парализовал в нем всякое желание сказать что бы то ни было. Пьер очень хорошо помнил те тягостные минуты, когда он должен был входить в комнату, где лежал умирающий, — ее приторенные ставни, сумеречные очертания предметов и тяжелый запах, исходивший от больного. — Пойди

к нему, — торопливо говорила Пьеру мать, — ты знаешь, как он всегда рад тебя видеть. Скажи ему, что у него сегодня лучше вид, чем обычно, это доставит ему удовольствие. — Пьер не знал, понимала ли она, насколько фальшиво звучало все, что она говорила, но покорно ее слушался каждый день и произносил все, что следовало, по ее мнению, произносить, никогда не получая никакого ответа: отец молчал в его присутствии так же, как всегда. Было совершенно очевидно, что приход Пьера не доставлял ему никакого удовольствия, так же как было очевидно, что слово «удовольствие» давно потеряло для него всякое значение и он был больше не способен его понять. За время болезни у него выросла густая черная борода, делавшая его неузнаваемым, и когда он наконец умер и Пьер увидел его последний раз, ему было нужно сделать над собой усилие, чтобы понять, что это худое, желтое лицо с черной бородой, незнакомое и призрачно неподвижное, — лицо Альберта Форэ, его отца. И только много месяцев спустя Пьер, сидя один и задумавшись бог знает о чем, вдруг вспомнил, что, когда ему было двенадцать лет, он проходил однажды по Севастопольскому бульвару и увидел, что на террасе кафе сидел его отец, совсем не похожий на себя, с веселыми и мутными глазами, — рядом с полной молодой дамой в зеленом платье, которая все время смеялась. Когда Пьер подошел совсем близко, отец схватил его за рукав, притянул к себе, — от него пахло вином и еще чем-то особенным, аптекарским, — и сказал:

— Это мой сынок, Пьер, хороший мальчик. — И, наклонившись к его уху, прибавил шепотом: — Никому не говори, что ты меня видел, а?

А через два дня, вечером, произнося свой очередной монолог, он сказал, обращаясь к жене:

— Всем известно, что одно поколение не понимает другого. Но будем надеяться, что наши дети не будут нас судить слишком строго.

И посмотрел при этом на сына. Пьер отлично понял тогда, что именно имел в виду его отец. И когда он вспомнил обо всем этом через несколько месяцев после его смерти, он вдруг подумал, что никогда больше не будет ни этого осеннего дня, ни этой смеющейся женщины в зеленом платье, что все сдвинулось и смешалось, как сон, исчезая в том неизвестном пространстве, куда с таким упорным молчанием уходил потом Альберт Форэ и которого он достиг в тот день, когда Пьер увидел его неузнаваемый, чернобородый труп.

Поезд продолжал идти, проникая, казалось, все глубже и глубже в дождь и туман. Слова «сберегательная касса» опять появились перед глазами Пьера и тотчас же пропали. После смерти Альберта Форэ на его собственном счету оставалось четырнадцать франков. — Твой отец нас разорил, — сказала ему мать. — Теперь, Пьеро, ты глава семьи. Мы работали всю жизнь. Если бы твой отец не играл на скачках... Что касается меня, я всегда выполняла свой долг. — И она заплакала.

* * *

«Мы работали всю жизнь...» Она действительно никогда не оставалась без дела. Она натирала полы, мыла окна, готовила, стирала, чистила овощи, выносила мусор, шила, вытирала пыль, и когда наконец казалось, что сделано решительно все, она садилась в свое твердое кресло и начинала вязать. Но, кроме этого, ее ничто не интересовало, и у нее никогда не было даже желания прочесть газету. Когда они бывали всей семьей в кинематографе, раз в неделю, она была не способна сосредоточить свое внимание на фильме, который показы-

вался, это ее только утомляло, и Пьер не помнил, чтобы она когда-либо сказала хоть несколько слов о том, что ей понравилось или не понравилось в картине. Когда отец ее спрашивал, что она думает, она неизменно отвечала одно и то же: — Не хуже, чем другие, — независимо от того, что это было — исторический сюжет, мелодрама или фарс.

Пьер не помнил свою мать молодой, такой, какой она была изображена на семейных фотографиях, — полноватой девушкой с большими глазами. Тетка Жюстина, старшая сестра отца, огромная старуха с густыми бровями и большим носом, вся всегда в черном, как-то сказала отцу в его присутствии:

— Ты помнишь, Альберт, какой прелестной была твоя жена, когда ты был только ее женихом?

Но это, казалось, было чрезвычайно давно и исчезло настолько безвозвратно, что представлялось почти неправдоподобным. Со стороны можно было подумать, — Пьер перебирал все мысли, которые возникали у него о матери и о семье, — что ее прелестность, в которую верилось с таким трудом, существовала только до ее замужества; после замужества необходимость в ней прошла и она исчезла одновременно с этим. Иногда ему казалось просто невероятным, что целая человеческая жизнь, со всеми ее возможностями, воспоминаниями, иллюзиями и надеждами, могла быть сведена к такому бесконечно неинтересному существованию: базар, обед, ужин, уборка квартиры — и больше ничего никогда, ни при каких обстоятельствах. Но в ней все-таки, правда, оставалось то теплое и нежное, что Пьер помнил с детства, прикосновение ее полных рук, ее вечерний поцелуй перед сном — пора бай-бай, Пьеро, мой зайчик.

На монологи отца мать обычно отвечала пожатием плеч, и было очевидно, что они ее совершенно не инте-

ресовали, о чем бы ни шла речь. Было, казалось, только два предмета, которые занимали ее внимание, — необходимость экономии и все, что было с ней связано: цены на мясо, на сахар, на хлеб, на вино, именно то, к чему Альберт Форэ был совершенно равнодушен — и что ее раздражало, — и наследство тетки Жюстины. Об этом наследстве Пьер слышал всю свою жизнь, на нем строились всевозможные расчеты, вплоть до кругосветного путешествия и покупки собственного дома где-нибудь недалеко за городом. Только значительно позже он узнал, что богатство тетки Жюстины было приобретено вовсе не экономией или какими-либо хозяйственными добродетелями, а тем, что она переменила за свою жизнь несколько очень состоятельных покровителей: один из них купил и обставил ей дом, другой подарил ей чуть ли не целую витрину ювелирного магазина, третий еще что-то, — в общем, это была смена неправдоподобных историй, вроде тех, какие Пьер читал в тоненьких дешевых книжках, подписанных именами совершенно неизвестных авторов. И когда он вспомнил эту громадную старую женщину в черном глухом платье, похожем на рясу деревенского кюре, эти мохнатые брови и крупный нос, возможность подобного обогащения именно ее, тетки Жюстины, казалась ему до удивительности плохо придуманной и фальшивой. Вместе с тем это было все-таки именно так: дом стоял на своем месте, как неопровержимое каменное доказательство всей этой неправдоподобной истории, драгоценности лежали в сейфе, а деньги в Лионском Кредите; и самая очевидная убедительность этих страшных бровей и огромного носа была бессильна перед фактами. И все-таки Пьер продолжал не понимать, как у этой женщины, которую он знал старухой, вдобавок на редкость некрасивой, могла быть —

даже десятки лет тому назад — такая бурная жизнь, как можно было быть в нее влюбленным, как она могла находить людей, которые были готовы дать ей все — дом, деньги, драгоценности. Она казалась ему похожей на огромную старую птицу с клювом и круглыми неподвижными глазами сплошного черного цвета.

И вот однажды, года два тому назад, ему попался старый семейный альбом, о существовании которого он не знал и который он нашел случайно, в подвале, куда он пошел за какой-то доской. Один фотографический снимок обратил на себя его внимание. Это была фотография молодой женщины с неправильными чертами лица, некрасивости которого не могли изменить никакие усилия ретуши; и несмотря на все это, в этом лице была необыкновенная привлекательность, неопределимая и неотразимая одновременно. Чья это могла быть фотография? Он осторожно вынул ее из альбома. На ее обратной стороне было написано от руки размашистым почерком: *Жюстина Форэ, май тысяча восемьсот семьдесят второго года.*

Когда тетка Жюстина приезжала к ним в гости, ей подавались ее любимые блюда, мать Пьера окружала ее заботами и даже голос ее приобретал какие-то особенные интонации, которые невозможно было себе представить без присутствия тетки.

Поезд остановился, простоял несколько минут на какой-то станции, потом опять тронулся, и Пьер снова стал думать о том, что его занимало до остановки, — так, словно движение этих воспоминаний точно соответствовало ходу поезда.

Столько лет тетка Жюстина приезжала к ним в их маленькую квартиру, недалеко от площади Данфэр-Рошере, столько раз она сидела за столом и ела с неприятной старческой жадностью то, что ей подавала мать. —

Как вы находите курицу, Жюстина? Вам не кажется, что рис чуть-чуть суше, чем следовало бы, Жюстина? Достаточно ли вам тепло, Жюстина? — и все это было совершенно зря. Это было зря — потому что и приобретение загородного дома, и проект кругосветного путешествия, и все остальное, — это был праздный вздор, абсурдные иллюзии, глупейший мираж, «мечта, которая рассыпалась прахом», — как сказал Альберт Форэ, — потому что перед смертью тетка Жюстина оставила завещание, по которому все ее имущество переходило монастырям. И в то время, как мать плакала, узнав об этом, отец ходил по комнате и говорил, что все в конце концов логично и что еще не было примера, чтобы католическая церковь отвергала пожертвования грешниц. — Они не зададут себе вопроса о том, каким путем все это было заработано и откуда им идет это украденное у нас богатство? Да, нас обокрали, — сказала мать. — Запомни это, Пьер, и никогда этого не забывай: нас обокрали.

Эта фраза потом стала совершенно обычной; по мере того как проходило время, она теряла свою первоначальную горечь, но смысл ее не изменялся: — После того как нас обокрали, — вы понимаете, я говорю об этом позорном случае с теткой Жюстиной... — Ты помнишь, Альберт, это было вскоре после того, как нас обокрали... — В сущности, это был удар, от которого Альберт Форэ никогда не мог оправиться. Когда Пьер думал о своем отце, он неизменно приходил к заключению, что тот строил все свои планы, и в особенности планы обогащения — путешествия, загородный дом, — на совершенно произвольных предположениях, сводившихся, в общем, к постоянному расчету на чудо. Он мог, в частности, разбогатеть, выиграв огромную сумму на скачках, купив билет Национальной лотереи